★ МАДЛЕН ТЬЕН ★

НЕ ГОВОРИ, ЧТО У НАС НИЧЕГО НЕТ

Перевод с английского
Марии Моррис

издательство **АСТ**
Москва

Часть первая

На свете тысяча способов прожить жизнь.
А сколько из них знаем мы двое?

Чжан Вэй
“Старый корабль”

Из всех сцен, покрывавших стены
пещеры, самыми пышными и затейливыми
были изображавшие рай.

Колин Таброн
“Тень Шелкового пути”

1

За один-единственный год мой отец бросил нас дважды. В первый раз — когда покончил с браком, а во второй — когда покончил с собой. В тот 1989 год моя мать полетела в Гонконг и похоронила отца на кладбище недалеко от китайской границы. Потом, вне себя от горя, она поспешила домой в Ванкувер, где ее в одиночку дожидалась я. Мне было десять лет.

Вот что я помню.

У отца красивое лицо, лишенное примет возраста; он человек добрый, но склонный к меланхолии. Он носит очки без оправы, и кажется, что линзы парят в воздухе прямо перед ним — тончайший из занавесов. Его темно-карие глаза всегда настороже, всегда таят неуверенность; ему всего тридцать девять лет. Отца звали Цзян Кай, и он родился в деревушке под Чанша. Позже, узнав, что в Китае отец был известным концертирующим пианистом, я вспомнила, как постукивали его пальцы по кухонному столу, как они порхали по столешницам — и по мягким рукам ма-

тери, до самых кончиков ее пальцев, пока она не заходилась от исступления, а я — от радости. Он дал мне и китайское имя — Цзян Лилин — и английское, Мари Цзян. Когда он погиб, я была еще совсем ребенком, и мне не осталось от него ничего, кроме считаных воспоминаний, какими бы разрозненными и неточными они ни были. С ними я не расставалась никогда.

На третьем десятке, в трудные годы после смерти уже обоих моих родителей, я всецело посвятила свою жизнь наблюдению за числами, догадкам, логике и доказательствам — орудиям, которые нам, математикам, перепали не только затем, чтобы осмыслять мир, но и чтобы попросту его описывать. Последние десять лет я преподавала в Университете Саймона Фрейзера в Канаде. Числа позволили мне лавировать меж невообразимо огромным и потрясающе малым; они дали мне возможность вести жизнь вдали от родителей, их дел и несбывшихся мечтаний, и, как думала я, эта жизнь принадлежала мне самой.

Несколько лет тому назад, в 2010-м, я прогуливалась по ванкуверскому чайнатауну и набрела на магазинчик DVD-дисков. Помню, был проливной дождь, и тротуары опустели. Из пары огромных колонок, висевших снаружи магазина, лилась классическая музыка. Я ее узнала — Четвертая соната Баха для фортепиано и скрипки, — и музыка потянула меня к себе ловко, словно за руку. Все стерлось из моей памяти, кроме контрапункта, удерживавшего воедино композитора, музыкантов и даже тишину, кроме музыки — бесконечно вздымающихся волн скорби и экстаза.

Голова у меня закружилась, и я прислонилась к витрине.

И вдруг я очутилась в отцовской машине. Я слышала, как дождь плещет по шинам и как отец напевает себе под нос. Он был такой живой, такой любимый, что невозможность осознать его самоубийство вновь захлестнула меня всей скорбью. К тому моменту мой отец был уже двадцать лет как мертв, и никогда еще я не вспоминала его так ярко. Мне был тридцать один год.

Я зашла в магазин. На плоском экране появился пианист — Гленн Гульд; они с Иегуди Менухиным играли ту самую сонату Баха, о которой я и подумала. Гленн Гульд в темном костюме сгорбился над роялем, вслушиваясь в ритмы, которые большинству из нас познать не дано… и был так знаком мне — как целый забытый язык, как целый забытый мною мир.

В 1989 году жизнь для нас с матерью превратилась в набор обязательных будничных дел: работа и школа, телевизор, еда, сон. Первый уход отца от нас случился одновременно со стремительным развитием событий в Китае — событий, за которыми мать как одержимая следила по CNN. Я спросила, кто эти демонстранты, и она объяснила, что это студенты и обычные люди. Я спросила, нет ли там отца; она сказала: “Нет, это площадь Тяньаньмэнь в Пекине”. Демонстрации, во время которых на улицы вышло больше миллиона китайских граждан, начались в апреле, когда отец еще жил с нами, и продолжились и после того, как его след затерялся в Гонконге. Потом, 4 июня, и еще долго после бойни — днями и неделями — мать плакала навзрыд. Я следила за ней ночь за ночью. Папа отказался от китайского гражданства в семьдесят восьмом — без

права возвращения. Но мое непонимание сфокусировалось на том, что я видела: на путаных, пугающих образах людей и танков, и на маме перед экраном.

Тем летом я, словно во сне, продолжала ходить на каллиграфию в культурный центр неподалеку — кистью и тушью строчка за строчкой переписывала китайскую поэзию. Но опознать могла только считаные слова — “большой”, “маленький”, “девочка”, “Луна”, “небо” (大, 小, 女, 月, 天). Отец говорил на мандаринском наречии, мать — на кантонском, но я-то сама бегло владела лишь английским. Сперва загадочный китайский язык казался игрой, удовольствием, но затем неспособность его понять стала меня тревожить. Я раз за разом выводила символы, которые не могла прочесть, все крупнее и крупнее, пока однажды избыток туши не пропитал насквозь скверную тонкую бумагу и та не порвалась. Я бросила каллиграфию.

В октябре к нам домой явились двое полицейских. Они сообщили матери, что папы больше нет и что с делом будет разбираться коронерская служба в Гонконге. По их словам, папа покончил с собой. Тогда тишина — *ку* — поселилась в нашем доме на правах третьего человека. Она дремала в шкафу вместе с отцовскими сорочками, брюками и туфлями, оберегала отцовские ноты Бетховена, Прокофьева и Шостаковича, его шляпы, кресло и любимую чашку. Тишина (安) овладела нашими мыслями и бушевала внутри у нас с мамой, словно океан. Той зимой Ванкувер был еще серей и еще дождливей обычного, словно дождь превратился в толстый свитер, который невозможно снять. Я засыпала в полной уверенности, что утром папа разбудит меня, как обычно, что его голос выманит меня из дремы, пока эта иллюзия не присовоку-

пилась к потере и не начала причинять даже большую боль, чем все случившееся до того.

Неделя ползла за неделей, и вот восемьдесят девятый год канул в девяностый. Каждый вечер мы с мамой ужинали на диване, потому что на обеденном столе не осталось места. Отцовские документы — разные сертификаты и налоговые декларации — мы уже разобрали, но оставалась еще всякая всячина. По мере того как мама все тщательней обследовала квартиру, на свет появлялись прочие бумаги — ноты, стопка писем, написанных, но так никогда и не отправленных отцом (“Воробушек, не знаю, дойдет ли до тебя это письмо, но…”), и все новые и новые тетради. Наблюдая, как растет их количество, я воображала, что мама верит: в новом воплощении папа станет листком бумаги. Или, может, она верила, как в древности, что написанные на бумаге слова — обереги, которые могут каким-то образом защитить нас от зла.

Почти каждую ночь мама проводила среди бумаг, так и не сняв офисной одежды.

Я старалась ее не беспокоить: сидела в смежной гостиной, и время от времени я слышала, как мама почти беззвучно переворачивает страницы.

Ку маминого дыхания.

Дождь, бьющийся о фасетчатые окна и соскальзывающий со стекол вниз.

Мы завязли во времени.

Снова и снова звенел за окном двадцать девятый троллейбус.

Я выдумывала разговоры. Я пыталась представить себе, как папа возрождается в мире духов, покупает очередную чистую тетрадь, рассчитывается незнакомыми деньгами и ссыпает сдачу в карман нового

пальто: легкой накидки из перьев или, может, плаща из верблюжьей шерсти — такого, которому хватит прочности и для рая, и для мира духов.

Тем временем мать пыталась отвлечься поисками отцовской семьи — где бы та ни была, — чтобы сообщить, что давно потерянный сын ли, брат ли, дядюшка ли ушел на тот свет. Она принялась разыскивать приемного отца папы, который когда-то жил в Шанхае и был известен там как "Профессор". Иных членов своей семьи папа никогда не упоминал. Информация добывалась медленно и болезненно: ни электронной почты, ни интернета тогда не существовало, так что маме несложно было написать — но трудно было получить стоящий ответ. Отец покинул Китай давным-давно, и если Профессор еще не умер, то был уже невероятно стар.

Пекин, который мы видели по телевизору — с моргами и скорбящими, с танками на ощетинившихся винтовками перекрестках, на целый мир отстоял от того Пекина, каким его знал отец. И все-таки, думаю я иногда, они не слишком различались.

Спустя несколько месяцев, в марте девяностого года, мама показала мне Книгу записей. В тот вечер она сидела на своем обычном месте за обеденным столом и читала. Тетрадка, которую она держала в руках, была длинная и узкая — с пропорциями миниатюрной двери, не туго прошитая хлопковой нитью орехового цвета.

Мне давно уже пора было спать, как вдруг мама наконец меня заметила.

— Да что с тобой не так! — сказала она.

А потом, словно смущенная собственным вопросом:

— Ты уже сделала уроки? Который час?

Уроки я сделала давным-давно и все это время смотрела ужастик без звука. До сих пор помню: какого-то дядьку там как раз забили ледорубом.

— Полночь, — сказала я.

Дядька оказался мягкий, как тесто, и мне было не по себе.

Мать протянула руку, и я подошла. Она крепко обняла меня за талию.

— Хочешь посмотреть, что я читаю?

Я склонилась над тетрадкой, уставившись на стайку слов. Китайские буквы вились по странице, словно звериные следы на снегу.

— Это книжка, — сказала мама.

— Ой… А про что?

— По-моему, это роман. Там про искателя приключений, которого зовут Да Вэй и который на корабле поплыл в Америку, и про героиню по имени Четвертое Мая, которая пересекает пустыню Гоби…

Я посмотрела еще пристальней, но по-прежнему не могла прочитать ни слова.

— Было время, когда люди целые книги переписывали от руки, — сказала мама. — Русские называли такое "самиздатом", китайцы… ладно, допустим, никак особенно мы это не называем. Смотри, какая эта тетрадка грязная, на ней даже трава налипла. Кто знает, сколько людей носило ее с собой… Лилин, она ведь на много десятилетий тебя старше.

"А что меня не старше?" — подумала я. И спросила, не папа ли ее переписал.

Мама покачала головой. Она сказала, что почерк дивный, что это работа обученного каллиграфа, а папа писал так себе.